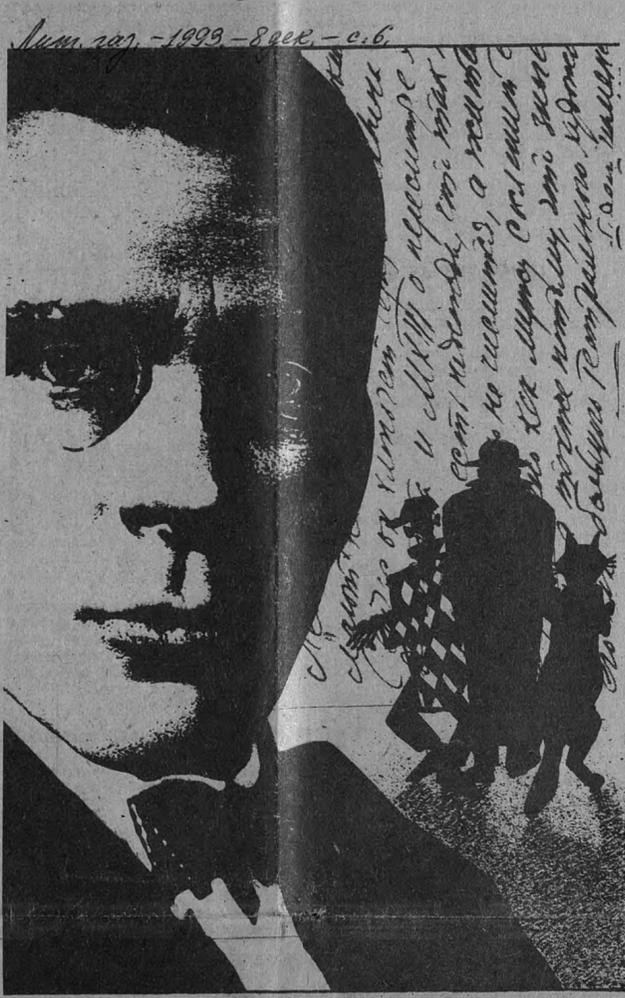


«Литературная газета» приглашает к сотрудничеству рекламных агентов. Тел.: 208-85-00, 208-98-36.

Мариэтта ЧУДАКОВА

Булгаков и Лубянка



Из недр госбезопасности извлечена фотокопия дневника Михаила Булгакова за 1923 - 1925 годы, протоколы обыска и допроса в 1926 году, агентурные сводки 20 - 30-х годов...

За этими документами не только биография писателя, но и двойная жизнь его собратьев по перу, и политическая история общества.

ОТНОШЕНИЯ Булгакова с ЧК, ГПУ, НКВД начались, увы, очень рано и продолжались до самой смерти. По нескольким (разным и потому, скорее всего, достоверным) свидетельствам, он был арестован уже весной 1920 года - когда во Владикавказ вошли красные войска: сидел в тюрьме как «белый офицер» и был освобожден благодаря вмешательству партийца, заведующего новообразованным отделом народного образования, поверившего ему, что он - писатель.

Самая серьезная встреча с ОГПУ произошла 7 мая 1926 года, когда к нему домой пришли с обыском - и забрали дневники и рукописи «Собачьего сердца». Впервые я узнала об этом зимой 1969-1970 гг. из архива писателя, из копий его заявлений в ОГПУ с просьбой о возвращении документов, имеющих значение для «громадной интимной ценности», и из воспоминаний Л.Е. Белозерской, тогда только-только написанных и переданных мне - для включения в архивный фонд Булгакова.

Эти бумаги совершенно не упоминаемые в тогдашней печати сюжеты; но, обрабатывая архив и готовя его печатное описание для исследователей, необходимо было преодолеть эти ограничения.

В 1976 году в «Записках отдела рукописей» (вып. 37), издававшихся Библиотекой имени Ленина, была рассказана, среди прочего, история создания и безуспешных попыток печатания «Собачьего сердца». В итоге полурасшифрованного разговора в центре (в Главлите) с В.А. Солодиным, трудного для обеих, эти страницы (уже вычеркнутые, конечно, красивым карандашом) удалось сохранить; они шли после описания «Дьяволады» и «Рокковых яиц» и начинались так: «Что касается той повести, которую пишет Булгаков в начале 1925 г. - повести, в которой действует профессор Филипп Филиппович...» Названия повести в тексте не было, зато были указаны архивные шифры записки к упомянутому рукописи (если бы это не удалось сделать - мое положение как человека науки и архивиста оказалось бы морально безвыходным: ведь это значило бы заявить на весь мир, что рукописи «Собачьего сердца» в фонде нет, на что я, конечно, пойти не могла). Немаловажными были и последние строки: «...история с текстом затихает на многие месяцы, а 7 мая 1926 года приходит к концу» - далее были указаны шифры документов, связанных с ОГПУ. Это была, в свою очередь, зашифрованная, зато точная информация для любого читателя. Все мы, и прежде всего С.В. Житомирская, заведующая отделом рукописей, замечательный деятель культуры весьма тяжелой для культуры времени, нарушили тогдашний регламент, многим казавшийся невыполнимым.

В 1988 году в «Жизнеописании Михаила Булгакова» (написанном, конечно, ранее и дождавшемся дней свободы) об обыске можно было уже рассказать внятней и опубликовать полные тексты заявлений Булгакова. В книге было высказано предположение о том, что обыск имел отношение «не столько к нему, сколько к редактору «России» (полгода назал не известные ранее ни мне, ни другим архивным документам полностью - что редко бывает в нашем деле - подтвердили эту гипотезу; об этом - далее).

Документы, открытые архивом МБ России сегодня, состоят из трех главных групп материалов: фотокония (негативные отпечатки) дневника 1923-1925 гг., протоколы обыска 7 мая 1926г. и допроса Булгакова 22 сентября 1926г. (опубликованы Г.Файманом в «Независимой газете» 17 ноября 1993г.), несколько десятков агентурных сводок и выписок из них о Булгакове, особенно много за 1925-1927 гг., копии перлюстрированных писем (подробнее см. в первом сообщении о новооткрытых документах одного из руководителей архива МБ В.К.Виноградова - «НГ», 12 ноября 1993г.).

В 1961 году листы фотоконии дневника были шифты и пронумерованы в КГБ; сегодня из 164 листов первые 36 отсутствуют; копия сделана, по археграфическим признакам, с одной тетради, тогда как в протоколе обыска и в заявлениях Булгакова упоминались три.

Одно из самых сильных впечатлений от новонайденного документа - это пальцы сотрудника ГПУ, прижимающие многие листы дневника сверху и снизу - пальцы мужской руки с коротко обрезанными ногтями, белыми на черном листе негативного отпечатка... В какой им же вырытой могиле истел следов следствий этого человека? Нет, советское время было все-таки слишком, неправдоподобно литературным. Ведь это же выдумка среднего беллетриста - руки ГПУ, физически дотянувшись до дневника и отпечатавшиеся на нем навсегда!

Часть дневника написана рукою Л.Е. Белозерской под диктовку Булгакова. Это заставляет вернуться к давним публикациям.

Машинописная копия дневника, сделанная в стенах ОГПУ с подлинника в неизвестное время, была обнаружена в 1989 году. Первые выдержки из нее были опубликованы В.Шенталиским в его рубрике «Хранить вечно» в «Огоньке» (№ 51, 1989), полный текст - с купюрами, касающимися некоторых упоминаний евреев, - в журнале «Театр» (№2, 1990; публикация и комментарии - среди них несколько полезных и ценных указаний - К.Н. Кирилленко и Г.С. Файмана), еще более полный - в «Библиотеке «Огонек» в том же 1990 году. Второй из публикаторов в журнале «Театр» свое краткое вступление к важнейшему документу посвятил уличающему сопоставлению описания обыска 1926 года в печатных воспоминаниях Л.Е. Белозерской, где есть фраза: «Найдя на полке «Собачье сердце» и дневничковые записки, «гости» тотчас уехали...» - и нескольких цитат из книги «Жизнеописание Михаила Булгакова». «В 1970 году Л.Е. Белозерская впервые услышала от нас, что при обыске, при котором она присутствовала, взяли не только повесть, но и дневники...» Здесь в публикации «Театра» цитата оборвана, далее следует опубликованное мною заявление Булгакова от 24 июня 1926 года на имя Председателя Совета Народных Комиссаров с просьбой о возвращении взятых при обыске рукописей: «Повесть «Собачье сердце» (2 экз.) - экземпляра и «Мой дневник» (3 тетради) и продолжение моего комментария: «Л.Е. Белозерская говорила между тем: «Не помню вообще, чтобы он вел дневники!» Вероятно, он не показывал их мне».

Расхождения в свидетельствах становятся понятны, если продлить обзорные публикации отрывки из «Жизнеописания», там поясняется, что в рукописных воспоминаниях Белозерской, переданных ею во время наших встреч в отделе рукописей ГБЛ, упоминалась только рукопись «Собачьего сердца»... Впоследствии, удостоверившись по нашим публикациям в существовании дневника, Л.Е. Белозерская ввела упоминание о том, что при обыске взяли и дневники, в печатный текст своих воспоминаний». К этому времени вышла наша первая информирующая об архиве Булгакова публикация, где было сказано:

«Из документов архива известно, что в 1926 году у Булгакова имелся дневник в трех тетрадях... Впоследствии дневник этот был уничтожен самим автором. Сохранилось только четыре странички, и то неполных, вырезанных из середины листа ножницами. Передавая их в Отдел рукописей ГБЛ вместе с другими материалами архива писателя, Е.Булгаков объяснял нам, что, уничтожая дневник, Булгаков собственноручно вырезал эти несколько кусочков текста - как свидетельство самого факта существования дневника - и отдал их мне - «на память» («Вопросы литературы», № 7, 1973).

Реконструированные фрагменты записей 1922 года были опубликованы частично здесь, почти полностью - в «Жизнеописании» (1988). О дневнике, который Булгаков вел в 1920-е годы и затем уничтожил, упомянуто также и в нашей большой работе 1976 года («Архив М.А. Булгакова»), которую Л.Е. Белозерская в печатном варианте своих воспоминаний (1979; публикатор дневника не упоминает дат, не придавая им значения) - спустя десятилетие после их создания! - уже упоминала и упоминала, полемизируя.

Увы, это свойство памяти человеческой хорошо известно профессиональным архивистам, историкам-исследователям. Спустя 45 лет Белозерская не помнила не только того, что многие страницы дневника Булгакова писались ею под диктовку мужа, - она не помнила вообще о его дневнике: слишком много событий прокатилось через ее память после того, как в 1932 году они расстались. Приведу запись, ее след после того, как я сказала, ее прочитав ее воспоминания, что, судя по документам архива, при обыске забрали и дневник.

«Дневник? Не знаю, никогда не видела и не слышала от него. Вряд ли. Это было так в духе Михаила Афанасьевича - вести добросовестную запись того, что было за день, с кем говорил. Разве что литературные куски - вроде «Записок на манжетках» - «Может быть, вы прочли не видели». Вообще-то он был скрытным.» (26 мая 1978 г.). Точно так же, добавим, Белозерская писала: «По Москве сейчас ходит якобы копия письма М.А. к правительству... это «звезд» на шести страницах не имеет общего с подлинником... Я никак не могу сообразить, кому выгодно пустить в обращение этот «опус»... подлинное письмо, во-первых, было коротким. Во-вторых - за границу он не проехал...» и т.д.

А ведь Булгаков просился, чтобы его отпустили за границу с ней! Перед нами не злой умысел мемуариста (хотя и налицо вошедшая, увы, в советский и постсоветский обиход привычка искать этот умысел у других) - свойство памяти: одни события не только запомнились, но ярко, даже талантливо были ею запечатлены в мемуарах, детали других - стерлись совсем. Трудно удержаться - не процитировать Тютюнова, сотни раз цитированного. Он говорил о жизни лиц исторических, ставших героями сочинений:

«Если бы вам довелось с ним встретиться, мог бы прозойти такой разговор: - Ну, это совсем, как не так было. Вы напутали. - Но ведь вот ваше письмо об этом. - Да, в самом деле. Как странно!

А вот откровенно того, на чем вы не настаиваете, что вы выдумали, может случиться, что человек тряхнет головой и неожиданно промолочит: - Да, вспоминаю. - Ведь много времени прошло».

Тютюнов знал толк в этих делах. Но почему машинописная копия дневника была передана из КГБ в ЦГАЛИ и обновлена в 1989 году, а в фотоконии его мы узнаем только сейчас? Размышляя над отступившим в «Деле № 1» под заголовком «Булгаков. Дневник» первых 36 листов, я описала эту странную единичку хранения Ксении Николаевны Кирилленко, опытной архивистке, и попросила ее проверить у себя в ЦГАЛИ - нет ли на той машинописной копии, которую она опубликовала вместе с Г.Файманом, архивной нумерации?.. Проверив, она ответила, что архивной нумерации нет, но машинопись имеет свою нумерацию - и в ней именно 36 листов: «Наверно, в этой же обложке она и лежала»...

ПРИВЕДЕМ некоторые ключевые для понимания всего сюжета 1926 года факты.

6 мая 1926 года Политбюро приняло решение «о закрытии журнала «Новая Россия» и высылке за границу Лежнева». Вторым решением по этому вопросу было поручение ОГПУ «внести в Политбюро 3-дневный срок проект дальнейших мер, вытекающих из этого постановления».

На другой день, 7 мая, Ягода внес этот проект; одним из его пунктов предлагалось для «завершения разгрома <...> группы сменовеховцев произвести обыски без арестов у нижепоименованных б-ми лиц, и по результатам обысков, о которых будет вам доложено особо, возбудить следствие, в зависимости от результатов коего высылать, если понадобится, кроме Лежнева, и еще ряд лиц по следующему списку...». В этом списке поименованы и Булгаков - как обычно, с ошибкой (его имя-отчество в советское время стало почему-то представлять непреодолимую трудностью для официального использования, что им самим не раз обыгрывалось в литературе и в жизни).

Итак, во-первых, политический мотив обыска сформировался на верхушке власти и не имел отношения к ревизию собратьев по перу. Во-вторых, речь шла об изменении отношения к сменовеховству (историю которого проследил М.Агурский в своих замечательных работах). В-третьих, арест заранее исключался (человек, конечно, не мог знать сам обывающе-милый). В-четвертых, и дневничковые записки, видимо, продолжением следствия, начатого в мае, после серии обысков.

К этому времени Лежнев был уже выслан за границу (об этом состояло решение Политбюро накануне обысков - по предложению Молотова, транслировавшего, по-видимому, точку зрения Сталина, в течение нескольких лет противостоявшего в отношении к журналу «Россия» другим членам Политбюро, - у него были свои виды на русский национал-большевизм).

Булгакову же, судя по агентурным сведениям, датированным 13 января 1927г. (спустя три с половиной месяца после допроса), следователь грозил высылкой. Осведомитель ГПУ сообщил слова Вересаева, пересказанного (не подозревая, конечно, в своем собеседнике стукача) что, что рассказывал ему недавно Булгаков - о сентябрьском допросе: «За все время разговора ему казалось, что сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить. В заключение ему было заявлено, что если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы».

В протоколе его показаний есть место, косвенно подтверждающее, что разговор о высылке шел. После пункта 10 печатной формы протокола «Партийные и политические убеждения» рукою следователя вписано (со слов допрашиваемого) «беспартийный», дальнейший же текст - собственноручный (публикатором не отмечено - «НГ», 17.11.93), что немаловажно; возможно, это была инициатива допрашиваемого, особенно опасавшегося неточностей в части сугубо идеологической.

Протокол фиксирует ответы на пункты печатной формы, но, по-видимому, учитывает и какие-то вопросы следователя. В определенной степени ответы Булгакова могут помочь представить, какое именно давление на него оказывалось.

Итак, Булгаков отвечает на пункт об «убеждениях» (учтем, разумеется, специфику «места и времени», предложенных для обсуждения убеждений): «Связавшись слишком крепкими корнями со страной Советской России, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Выход много недостатков в современном быту и благодать складу моего ума относятся к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях».

Первая фраза может быть прочитана как реакция на угрозу высылки. В таком случае между ней и доносом осведомителя - расхождение: в протоколе речь идет о существовании вне Советской России, в допросе, воспроизводящем (через третьи руки) реплику следователя, - о высылке за пределы Москвы.

Обратим внимание на сходство с ответной репликой Булгакова в телефонном разговоре со Сталиным (известной только по очень слаженной, мы думаем, позднейшей дневничковой записи Е.С. Булгаковой) с первой фразой приведенного ответа.

Коварно построенный вопрос Сталина 18 апреля 1930 года - спустя три с половиной года после первого (но не последнего) допроса («А может быть, правда - нас пустили за границу? Что - вы вам очень надоели?») - мог мысленно вернуть пронаблюдаемого, издерганного человека к памятной ему камере следователя и разом привести в состояние растерянности и страха. Для него легко носоздавался давняя ситуация допроса. И записанная («рас-

терялся и не сразу ответил» - запись Е.С. Булгаковой), Булгаков полуавтоматически воспроизвел уже ответственное однажды - письменно - на допросе.

Это и был один из двух приступов «нежданной, налетевшей как обморок, робости», из-за которой, по его самоощущению, он совершил две из пяти роковых ошибок в своей жизни. О них он писал, оглядываясь прошедшее десятилетие литературной работы и жизни в Советской России, П.С. Попову 14 апреля 1932 года: «В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. Не будь их, <...> солнце светило бы мне поному, и соняния бы я, не шедела беззучно губами на рассвете в постели, а как следует быть, за письменным столом». Может быть, речь идет о нормальной писательской работе - не в советских условиях, под непереносимым давлением, а за границей, куда несколько месяцев назад он провозил Замятину, о радикально иных условиях жизни - о «письменном столе» в другой стране?

Тогда еще одна из двух ошибок, совершенных под влиянием «робости» - возможно, приведенный выше письменный ответ (отражавший и какие-то устные реплики). Напомним проект Ягоды - в зависимости от результатов следствия, возбужденного после обыска, «высылать, если понадобится, кроме Лежнева, и еще ряд лиц» - по списку, в котором стоит Булгаков.

В сентябре следствие, видимо, завершилось (надеясь, что сотрудники архива госбезопасности, готовящие публикацию всех документов, вскоре дадут нам более точную картину всего происшедшего в ту весну и лето, поскольку обыски, во всех случаях, должны были пройти еще у шести людей, связанных со сменовеховским движением). Выработались какие-то решения. И, вспоминая в 1932 году свое поведение на допросе 1926 года, Булгаков, еще раз переживавший к тому времени испуг - во время разговора со Сталиным (В.А. Кавриин рассказывал, что Е.С. Булгакова говорила ему именно об испуге, повлиявшем на его ответные реплики), - возможно, горько сожалел, что пропустил в 1926 году какие-то возможности отплатить в ответ за Лежневых. А затем, в апреле 1930 года, он упустил их вторично, отказавшись от уже объявленной им в письме к правительству готовности именно к высылке («Я прошу Правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР...»).

МЕЖДУ допросом осенью 1926 года и разговором весной 1930-го были еще контакты Булгакова с властью. Летом и осенью 1929 года в заяв-

лениях на имя Сталина и других лиц он просил их «хотятая меня перем. Правительство СССР об изгнании меня за пределы СССР...». Он продолжает также писать заявления о возвращении писем; обменяется письмами с помогающей ему в этом Е.П. Пенсковой.

После развернувшейся в ту осень кампании преследования Е.Замятин и Б.Пильняка за то, что они издали свои не опубликованные в СССР романы за границей, Булгаков подал заявление и выходе из Всероссийского союза писателей (не защитившего своих членов, а поддерживавшего гонение на них). Оно датировано 2 октября - в этот же день Булгаков был вызван повесткой на завтра к следователю «для дачи показаний» (материалы этого допроса, будем надеяться, отыщут сотрудники архива госбезопасности).

В конце октября 1929 года в Москве проходил аресты интеллигенции; арестованы и затем высланы из Москвы несколько его добрых знакомых - Б.В. Шапошников, С.С. Толпеленин, Ф.А. Петровский.

Все пьесы Булгакова к этому сезону сняты; однако он находит в себе творческую отвагу для писания новой пьесы - «Кабала святош». Она останется ликом противотриггерического лафоса в его сочинениях.

В январе-феврале 1930 года становится ясно, что пьесы не пропустят на сцену. Новооткрытые документы проливают некоторый свет на ситуацию зимы 1929-30 гг. Один из осведомителей ГПУ сообщает 3 марта 1930 года: «Михаил Булгаков рассказывал о своих неудачах: 1) он обратился с письмом к Рыкову, прося о заграничном паспорте; ответа не последовало, но «воротили дневники»; Давидов осведомитель перелает рассказ Булгакова об авторском чтении пьесы о Мольере в театре; читку назначили специально на час, когда актеры заняты, а рабочие театра, составлявшие основную часть художественно-политического совета, называли Мольера Миллером и упростили Булгакова за то, что он упоминает «метр» (так они поняли обращение к Мольеру - «метр»), тогда как в то время «метрической системы не было»...

Цитируемая осведомителем реплика Булгакова о дневниках подтверждает слова Е.С. Булгаковой в наших разговорах 1968-1970 гг. - она говорила, что дневники вернули то ли в конце 1929-го, то ли в начале 1930 года.

Прежде чем съехать, автор, конечно, перечитал их. Это, с одной стороны, помогло ему, по-видимому, найти нужный тон в мартовском письме правительству: он еще раз удостоверился, что там, наверху, иллюзий на счет его взглядов не питает; вместе с тем его, возможно, подбадривало теперь то обстоятельство, что в дневнике им не был лично задет Сталин, место которого в иерархии власти полностью уяснилось после пышно отмеченного в декабре 1929 года пятидесятилетия. А если углубляться в психологию, память о дневнике могла помешать ему овладеть собой в момент разговора со Сталиным.

«Независимой газете» начата теперь публикация дневника по фотоконии - то есть практически по подлиннику.

Это должно было стать весьма важным культурным событием. До сих пор мы знали текст, местами искаженный или непрочитанный машинисткой ГПУ.

Первая часть публикации производит впечатление, которое трудно описать филологу и архивисту.

Поврежденный текст фрагментов дневника 1922 года был в свое время восстановлен и подготовлен к печати (в наших публикациях 1973-го и 1988-го); теперь в «НГ» он воспроизведен (без упоминания первых публикаций и, конечно, без тех пояснений, которые я давала по поводу своих конъектур), так что собственноручно с текстового дела обстоит, надеюсь, более или менее прилично (в одном случае публикатор меня исправляет, и совершенно напрасно).

Но дневник 1923 года печатается с кажим-то, не побоюсь этих слов, циничским отношением к культурному делу.

Г.Файман умеет собирать факты, но не умеет читать почерк Булгакова. Это свойство вполне нейтральное - мало ли людей, плохо читающих рукописное, а скоро их будет гораздо больше, поскольку уже со школы учат, как во всем мире, работать на компьютере. Но когда в конце публикации появляются слова «Подготовка текста Г.Файмана» - это свойство перестает быть нейтральной слабостью.

«...Теперь днем я расстоянием обрзан от «Нак[ануне]» [...] литературный [...] («Записки на манжетках» в Берлине до сих [пор] не [издали], пробивавось фельетонами в «Нак[ануне]» (подготовка текста Г.Файмана).

В дневнике же: «...Теперь днем я расстоянием отрезан от «Нак[ануне]». Дела литературные вялы. Книжка в Берлине до сих пор не вышла, пробивавось фельетонами в «Нак[ануне]».

Второй пример. «Вчера приехали к нам Сарочка с матерью, мужем и ребенком. Проездом в Саратов. Завтра должны уехать со своим поездом туда, где когда-то жизнь семьи была прекрасна» и т.д. Отбросим текстологию, обратимся к простому здравому смыслу. Машинистка ГПУ прочитала в свое время - «Сарочка». Всем, кто занимался когда-либо биографией Булгакова, абсурдность этого чтения должна быть очевидна - даже без подлинника. В записи следующего дня сказано: «Сегодня уехали родные в Саратов» (подчеркнуто нами. - М.Ч.). Семья Булгакова - из Киева. Чья семья из Саратова? Чьи родные? Жены, Татьяна Николаевна. Естественно, это ее единственная сестра Софочка. Никакая Сарочка из Саратова не решилась бы, надо думать, приехать всей семьей в однокомнатное жилье, и ни о ком не писал бы Булгаков по этому поводу с таким благодушием, кроме самых близких родственников семьи.

Множество других примеров оставляя за кадром. В России в настоящее время - десятки людей, читающих почерк Булгакова (назовем хотя бы группу петербуржцев и москвичей, издающих под эгидой А.А. Нинова пьесы Булгакова на академическом уровне), большое количество архивистов, отлично знающих, что означают слова «подготовка текста» (они подтверждают, что далеко не каждый филолог и историк с первых попыток справляется с этой требующей квалификации работой).

Если мы чем могли гордиться в наше недавнее подпольное время - это нашей текстологией и эдиционной культурой. Существовала шутка, что мы умеем издавать, а они (за рубежом) могут издавать. Непонятно, ради чего мы должны сегодня терпеть эту десятилетиями накопленную культуру? Она - общенациональное достояние, как и документы, связанные с жизнью выдающихся людей. Почему эти документы должны непременно печататься в таком виде, что тут же нужно заниматься критикой текста и его любительского истолкования? Не естественней ли, как в старое доброе время, печатать их сразу на надлежащем уровне?

Все это происходит сегодня далеко не только с публикациями «неизвестного Булгакова», но ему, как многие давно заметили, везет особенно - его рукописи и вновь объявляющиеся документы полностью перешли в руки непрофессионалов. Это заставляет наконец заняться серьезным изучением в ближайшее время всех накопившихся за последние годы фактов.

АГЕНТУРНО-осведомительские сводки и отдельные доносы, открываемые сегодня службой госбезопасности, могут быть источниками нескольких слов информации.

Во-первых, это проекция взглядов самого Булгакова. Его действительные оценки событий, пропущенные через осторожность, через обычное для него неполное доверие к собеседнику (кроме близких друзей), возможные скрытые адресации к власти (в не обманувшей надежде, что через случайных собеседников его слова дойдут до адресата) все же просвечивают в пересказах доносчиков.

Во-вторых, перед нами сложнейший клубок иллюзий, властных авторитетов этих сочинений, социалистических предсудбков, обыкновенной зависти, сплетенных со страхом, желанием подслужиться к ненавидимой и устрашающей власти и т.д. Вряд ли эти сводки помогут проследить прямое «реагирование литературной среды на произведения» Булгакова («НГ», 12.11.1993). Нет, это предмет скорее для социологов, чем для историков литературы. Пусть они разбираются, какие темные силы вызываются из души человеческого умысла обращением. Это материал к истории разложения литературной (как и всякой другой) среды под прессм власти. Дурашливый тон, в котором в наши дни повествуют нередко о низведении человеческой природы, здесь неуместен. Потешаться тут не над чем; да, строго говоря, и оценочная позиция запоздала - пишущие, к счастью для всех нас, уже не могут удостовериться в том, что они в те далекие годы вели бы себя совсем иначе, не поддались бы никакому давлению.

Третье, что нужно иметь в виду, - эти сводки не отражают прямых намерений власти, поставившей себе будто бы специальную цель известить Булгакова (хотя и отражают косвенно взгляд на него не власти в узком смысле слова, а официоза). Они отражают только сбор материала для власти. Сам по себе этот материал еще не дает представления о ее политических намерениях, в которых Булгакову придалось гораздо меньше значения, чем, возможно, представлялось ему самому и чем порою кажется сегодня, когда он занял свое место в пантеоне отечественной культуры.

Вообще в последнее время обилие любительских публикаций документов, требующих нехотеловского подхода, разрушает представление о политической истории как особой дисциплине. Все это гонимось в 1988 - 1989 гг., когда целью журнальных и газетных публикаций (вначале главным образом «Огонька» и «Московских новостей») было разъяснение того, что история России XX века отнюдь не была поступательным движением к чему-то хорошему, а чередой кровавых преступлений власти, что главным результатом многолетнего большевистского правления стали горы трупов. Эта цель, кажется, достигнута; тем, кто продолжает, несмотря ни на что, носить портреты Ленина и Сталина, уже не поможет. Бессмысленно на новых и новых документах вести, как говорили в старину, «агитацию против советской власти». Неразумно считать, что в отношении к документам этого времени отменяются все законы исторического изучения. Только далекие от этого конкретного изучения люди могут предполагать, что в середине 20-х годов доносы обязательно вели к репрессиям. Репрессивный аппарат работал под руководством партии, у которой была своя политика; была вполне упорядоченная работа по организации репрессий, и агентурные сведения, повторим, были материальном, но не затравкой. Только к середине 30-х была создана ситуация, когда всякое слово пошло в строку - важно было уже количество. В 20-е годы подход еще качественный: Булгакова «насут» вместе с другими, изучая, формируется ли интеллигентская оппозиция как реальная политическая сила.

И здесь - четвертый аспект новых документов.

Когда критики-современники называли Булгакова сменовеховцем, они отражали, как почти всегда и бывает с современниками, некую реальность - только не его взглядов, а взгляда на него, реальность не литературную, а политическую. В глазах власти он был сменовеховцем. Это не соответствовало его взглядам, но было, среди прочего, связано с его биографией: он презирал «Накануне», но печатался там, презирал сменовеховцев, но общался с ними лично; это были близкие друзья его второй жены; сильно затронувшие его жисть события 1926 года были связаны именно с политической властью по отношению к сменовеховству.

ПРОЦИТИРУЕМ напоследок нашу запись одного из устных воспоминаний Елены Сергеевны от 3 ноября 1969 года: «Последние дни Мише все казалось, что пришли из НКВД и забирают его рукописи... Там есть кто-нибудь? - спрашивал он бесконечно. И однажды заставил меня поднять его с постели, и, опираясь на мою руку, в халате, с голыми ногами, прошел по комнатам. И убедился, что рукописи «Мастера» на месте. Он лег врасплох на подушку и упер правую руку в беду - как рыцарь...»

А накануне смерти потребовал снять с себя рубашку. Почему-то он думал, что в рубашке они могут его утешить, а без рубашки нет...»